

– Вот вы озадачили меня. Подробности о раскулачивании я почти все рассказала. И не осталось ничего, что бы я помнила и знала, но не рассказала и не написала в книге. Я ведь даже, знаете, позвонила в Устюжну, попросила свою дальнюю родственницу, которая живет в Устижне, расспросить старожилов Устюжны, которые раньше жили в деревнях, потом в колхозах, и она написала мне письмо. Вот оно пришло недавно. В нем она пишет, что поговорила со свекровью своей. Которая жила в деревне Кузьмолowo, в архив ходила. Так вот коллективизация в нашем районе пришлась на 1934 год. Вообще этот процесс шел с 1928 по 1936 год. Я сама была в архиве, и вот моя эта родственница тоже пошла в архив, в архивных папках имеются квитанции, которые выдавались крестьянину при сдаче его имущества в колхоз. По ним эти даты и получаются. Кстати, по квитанциям этим видно, что одни и те же предметы в разное время имеют и разную ценность. Но вот поговорить с руководителем архива у моей племянницы не получилось подробно, надо идти туда и там долго работать. Ну, это конечно, документы советские не всегда правильно отражают то, что было в реальности, особенно душевные переживания людей. И вот что узнала она: упоминаются в документах архива устюжинского деревни Дементьево, Кормовесовo (всё это как раз около нас). Для принятия решения о вступлении в колхоз огромное значение для крестьян имела агитация и вербовка. Эти слова были новые для нас, только с колхозами мы их узнали, это точно. Но в то же время крестьяне понимали, что другого выхода нет, так как за этим стояла власть. Ну так, конечно, ой-ой какое было... И вот что она еще написала-то, что в деревне Дементьево два брата, которые жили каждый своим хозяйством и жили зажиточно, имели коров, лошадей, сразу же приняли решение о вступлении в колхоз, так как знали, что всё равно согнут в бараний рог и не дадут жить. А ее свекровь вспомнила, что тем семьям, которые долго держались (то есть не вступали, жили единолично), во-первых, отдавать нажитое добро было жаль; во-вторых, неизвестность пугала, стало всё труднее и труднее. Всё преимущество было отдано колхозам, а тех, кто не вошел в них, то есть единоличников, душили налогами. Конечно, ой-ой, как они относились к единоличникам... Но вот по-разному, оказывается. Свекровь моей племянницы сказала ей, что в основном их жалели, изгоями не считали, но это было в каждом колхозе. В каждой деревне был свой колхоз, и много зависело от того, дружны ли люди в деревне. Где было больше хороших совестливых и трудолюбивых людей, там коллективизация проходила мягче. Колхозы были разные: крепкие и слабые. В основном тогда зависело от председателя. Бывало и грамоты немного, а человек трудолюбивый, хозяйственный, у которого получалось держать строгую дисциплину, то и хозяйство было сильным. Такого руководителя боялись, уважали. Из слабых колхозов люди выходили, там толку было мало. Вот что она пишет буквально: «Тебе бы самой приехать и посидеть в архивах, поговорить с людьми. Я, кстати, познакомилась с Клавдией Николаевной Цветковой. Ее детство прошло в Кормовесове. (Тут рядом с нами). Жила она в Санкт-Петербурге (ну, видно убежала в то время), но в недавнем времени сделала обмен своей жилплощади на Устюжну. (Но уж не в деревню, там в деревне-то ничего нет). Сейчас ей за 80. Но какая женщина! Беседа о коллективизации протекала за «рюмкой чая» (это у нас такое есть выражение), а закончилась песнями. Вот тебе и 80. Вчера снова я получила от нее приглашение. Клавдии Николаевне кажется, что она меня плохо угостила». Это у нас тоже слабинка есть: всё только угощать и еще с собой гостинцев дать. Ну и что теперь вам рассказать?

– Давайте по порядку по тем последним просьбам. Условия в колхозе...

– Когда мы уезжали... Я так это, Таня, отчетливо помню... Если бы я была художник, я бы могла нарисовать. Вот наш дом, вот этот камень... как бы площадь такая. Стоит лошадка (сани), и выходим мы: мама и мы трое (брат Толя, брат Алексей и я). Я была в таком состоянии очень подавленном вот из-за чего. Когда мама нас уже одевала, то было холодно (в мае). А там север, да и у нас иногда в мае заморозки бывают. И потом все же едем не на один год. Мама как

предусмотрительная крестьянка одела мне легкий платочек, а потом еще шаль такую пуховую (так вот завязывают). Ветер... А Коля-то Кузин, который наш самый главный-то был, председатель колхоза, пришел, как увидел шаль... Можете себе представить, парень, молодой мужчина, – он запомнил, что эта шаль описана, то есть уже в список (в перепись) вошла. Значит, трогать нельзя. Он подошел, снял с меня. А я стою в тоненьком платочке. Мама говорит: – Николай Ильич, как же ребенка-то, ведь далеко едем. А больше ну нет у меня теплых. Ведь платки да шали носили, шапок-то не носили в деревне в то время. – Нет, нет, нет, раз описано, нельзя. Тут хоть сдохни. А брат мой Толя шмыг на печку и там разыскал какую-то старую рваную ушанку мужскую (забросят да и забудут). И натянули на меня. Вот я первый раз в жизни надела мужскую шапку, во-первых. Во-вторых, мне уже аж стыдно было показываться. Позор, как это девчонка наденет мальчишескую шапку. Это теперь, а тогда это очень... Вот я в таком состоянии вышла. Но я отлично всё равно помню. Это была вот такая серая стена людей молчаливых. Ни движения, ни слова, ничего. Вот такая замерла толпа. Знаете, как пауза в театре бывает. Мы вышли. Хоть какие-то слова или что-нибудь, кто-то подошел бы... Стояли, как на параде солдаты, навтыжку. Лица... Я не могу сказать, ведь я, оказывается (я тогда-то не знала маленькая), я была близорукая. Но так вот это смазано всё у меня было, это я точно видела. Никаких ни объятий, ни последних слов, ни расставаний, потому что тут ходили в кожаных тужурках активисты. Нельзя было проявить никакого сочувствия по отношению к кулакам, поэтому стояли молча и всё. Мама только поклонилась, сказала: – Простите, бабы, если я в чем перед вами виновата. Поклонилась на все четыре стороны, перекрестилась. Сели и поехали. Так что про лица я могу сказать, а вот такая ситуация эта... Я знаю, что это всё стоят близкие люди, среди которых я выросла. И никто не подошел, не посочувствовал. Замертво стояли, как солдаты в строю. Боялись.

– И ваша подружка тоже?

– Нет, нет, никто.

– Маленьких детей не было? Не помните их?

– Нет, были. Были и девчонки. Только лица я не могла рассмотреть. Прижавши вот так, матери держали их около себя. Поэтому такая вот серая плотная толпа стояла. Вот так прощались. Не знаю, как в кино показали, а вот я-то точно знаю, как нас провожали.

Вот эта плата в колхозах... Вы сказали звонить не надо, но ей бы тоже надо было в деревню идти. Плата ведь она как-то... даже принцип вот этого трудодня – он не сразу был установлен. Вначале не знали, как рассчитывать. Работают-то вместе. А как?... Как-то делили. Это потом уже дотумкали, что надо записывать, кто сколько работал. Всё не сразу было. Это они как-то дошли методом тыка. В общем, колхозники всегда очень бедно жили, надо сказать, в наших краях. Некоторые (вот она пишет) более или менее, абы себя немножко прокормить, хлеб от урожая до нового дотянуть. Это не думайте, что там что-то еще. А так только в основном... А что делить? Только хлеб. Потому что молоко (ферма) – это всё сдавалось государству. Скотный двор колхозный потом они уже выстроили большой (сейчас он стоит заброшенный). Каменные, большие. Я всегда, если мимо иду, посмотрю. Но хорошо каждому колхознику оставили свою корову. Так вот своя корова, поросенок, куры, еще, может, у кого-нибудь были и овечки – вот этим-то они и жили, понимаете? Только хлеб. Ведь хлеб тогда не продавали печеный в магазинах-то, каждый сам пек. Поэтому ждали, какое зерно, мололи и так далее. И сколько уж доставалось, это учесть невозможно... то есть у них, конечно, в документах где-то есть, но я знаю, что это очень мало, потому что мамина сестра (она немножко подальше нас жила, в Тимофеевском)... Когда мы вернулись из ссылки, она каждый раз (раз-то в году придет) навещала, поживет у нас. Ну и, конечно, первый вопрос: как у вас там в колхозах? Иногда скажет: – Да ничего, доживем, может быть. А иногда – со слезами. А у нее пять человек внуков. Сын женился. Тогда тоже в деревне много рожали. Так что получали в колхозах мало, что там говорить, и трудно жили. То, что в «Кубанских казаках» показывают... Я даже иногда думала: а, может быть, они и не врут, потому что всё же это Украина, у них земли, может быть, и правда у них столько вырастает. Ну и писали, что урожаи хорошие. А в наших местах – северная зона, земля плохая, надо много навоза положить.

– Скажите, пожалуйста, в тех письмах, которые вам писала ваша подружка, не было каких-нибудь рассказов про колхоз? Или вы не спрашивали?

– Нет, конечно. Да разве можно? Просто-то писали, что там тетка Агафья жива, а дед такой-то умер. Вот такое только. Про лошадь нашу – рысак – написала подробно, как он погиб. Вот такие только письма. Так и то, видите, исключали из колхоза за каждое письмо.

– А вы помните, как мама реагировала на смерть вашего рысака?

– Расстраивалась. Только, знаете, такая есть деревенская педагогика, правило первое: никаких переживаний родители детям не показывали. Вот так. Ахнула, ушла куда-то. А мы: – Мама, мама... – Ладно, ладно, ничего, всё... Чтобы никаких разговоров. Конечно, жалко. Ну как же, господи... Ездил на рысаке. Жеребенком купили, вырастили. Что вы... Ой, ошиблась. Этого не купили, отцу дал наш родственник, он разводил орловских рысаков, и он попросил учить его сына.

– А, скажите, нельзя было потом уже делать сапоги? Не смогли зарабатывать сапожники своим трудом в колхозе?

– Не разрешали. Себе – пожалуйста. Да как это следилось! Ни портным, ни сапожникам, никому! Боже избавь! Не разрешался надомный труд. Облагали таким каким-то большим налогом. Ой, как боялись. Да даже уже после войны. Ведь мы потихоньку, шепотом к портнихе... – Ай, проходите, проходите, сейчас я чайник поставлю... Перед соседями, что, дескать, это не заказчицы. Ну так преследовалось! Чего преследовалось? Ну если человек владеет...

– То есть нельзя было?

– Нет. Что в колхозе можно было, и чем они очень поддерживались, – это ягоды и грибы. Летом дети, не вылезая, собирали ягоды, носили в эту Устюжну, продавали. Тут и сахарок купят, и булочки, и чаек на заварку. Тетя Маша всегда говорит: – Только на ягодах и поживем, и чего-нибудь на зиму купим себе. Вот это разрешали, пожалуйста. Не дотумкали еще это запретить.

– Понятно. Про Шалтырь в 1930-1931 году: сколько было людей?

– Ну, конечно, цифру я... Уж лучше мою книжку посмотреть... Я здесь пишу: (читает) «Уже теперь, когда стали писать правду о тех страшных годах, я прочла... я не помню, где, но я точно знаю, что была дана установка сократить число спецпереселенцев на три четверти, то есть 75 %, а 25 % можно оставить». Вот такая была установка. И вдруг я сообразила, что и у нас осталось мало народу после второй зимы. Стала вспоминать. Сначала в бараке были нары сплошные и в два этажа, а потом оказалось (как-то ребята... не обращаешь внимания), что уже вторые (верхние) нары сняли, только внизу. Да еще и между нарами – большие пространства были. Я тут и подсчитала... Там столько народу было, а остались мы (ну, как бы на секции барак был разбит, и в каждой секции была печка)... так вот в нашей секции осталось только четыре семьи. Одни немцы были с Поволжья. Один был бывший торговец (держал чайную), очень интеллигентный Алексей Петрович с женой и с дочкой, еще грудная девочка, она умерла. Мы. И сибиряки были (вот Артемова Аня, я с ней дружила). Осталось четыре семьи, было свободно, чего там. Так оно, наверное, и получается, что четверть осталась, а то и того меньше. Потому что если нас было в два этажа набито... Тогда я еще в первую зиму... и все фамилии-то не знаешь, потому что, чтобы не мешать, сиди на нарах и не болтайся под ногами. Одейся – так выйди на улицу. Тесно, народ же ходит. А потом оставались только дети, старики. А мужчины здоровые, молодые женщины – они же все на лесоповале были. Осталось нас... действительно, мы очень свободно жили, хорошо жили, не тесно. (Смеется)

– Конечно, цифру назвать... численность не помните? Никаких там построений не было? Никаких пересчетов? Цифры при вас не называли?

– Нет.

– От мамы или от старших братьев ничего не слышали?

– Нет-нет.

– В школе этого тоже не звучало, не помните?

– Нет. Но система была такая, что каждый вечер комендант сам обходил бараки. Мы должны были ждать, не ложиться спать, пока не пройдет комендант. Он пройдет, всех увидит глазами живых, по списку перечитает, мы откликнемся, тогда всё, отбой, мы ложимся спать. Умирало очень много. Очень много умирало. Уже потом выносить было некому. Некому хоронить было покойников. Такие инфекции, как тиф, дизентерия, косили, конечно. Ну а коль у них была такая установка, что четверть останется, и ладно, не горюйте. А вторую зиму, когда вообще не было хлеба... Не давали никакого пайка. Паек – это только хлеб, больше ничего же не давали, господи, только разговоры: «паек». Дорога занесена вся, вот ждем – придут битюги (лошади такие сильные), протопчут дорогу. – Да когда же? – Да вот, говорят, скоро, скоро, уже там начали. Вот

он и тянул... Так, может, специально не дали хлеба, чтобы поуменьшить-то народ. Я так теперь думаю: это специально. Не может быть так, чтобы всю зиму...

– То есть просто не давали хлеба, ссылаясь на то, что дорогу замело?

– Да, да. Ну вот и начали пни есть, кору, кто чего. Конечно, на первую-то зиму какие-то запасы были свои: где крупа, где мука, чего-то размешивали. А уже потом-то нет. И во вторую зиму очень много вымерло. Очень много. И весной стали люди просить коменданта: можно ли нам хоть чего-нибудь... какие-то дайте семена, мы хоть посеём. Ведь вот тайга-то есть, мы пни выкорчуем, всё сделаем, только разрешите. Ну вот он сказал: – Пока нет, пока нет разрешения. А потом однажды приходит и говорит: – Разрешили вам, корчуйте, можете посадить. Ой как мы работали! Все. Ребятишки, все вышли. Ну и дали нам семена: картофельные очистки – вот и все семена.

– А, скажите, что значит «пни есть»? Как это пни есть?

– Гнилые, трухлявые. Это и блокадники ели.

– А как их едят?

– Берут разминают, просеют, и вот надо туда чего-нибудь капельку добавить. И делают лепешки. А потом у некоторых заворот кишечника. Ну где же это такое... Лишь бы чего-то жевать, что-то положить в желудок. Весной, конечно, как только-только травинка появилась, тут уже мы ожили, начала траву есть, откапывать прогалинки, начали искать корни. Вторая зима очень была... Во вторую-то зиму много народа тут осталось...

– Это зима с 1931 на 1932 год, да?

– Нет, видимо, с 1932 на 1933... По-разному у каждого. Вот у нас эта была зима очень тяжелая, и нам объясняли, что занесена дорога. А 12 километров от центрального рудника, где наша была администрация, где были магазины, летом добывали золото, были старатели. Они снабжались очень хорошо, там магазины были очень хорошие. И мука, и всё там было. Там доставляли, там дорогу не заносило. А к нам занесло дорогу. Специально делалось, чего там...

– А сколько людей заболели сыпным тифом? Можете сказать?

– Нет, конечно.

– Никаких данных?

– Нет.

– Не пробовали искать?

– А где? Косило... В Гражданскую войну ведь сколько сыпным тифом... Эшелоны шли, кто их там считал. Никто не считал. А уж переселенцев... Нет, может быть, они для себя-то там подсчитывали, я не знаю, может быть, где-то есть документы.

– А этот ваш поселок Шалтырь – это какая область? Если, например, искать какие-то архивные документы, то какая это область?

– Алтайский край, наверное, Новосибирская... У меня где-то адрес-то есть.

– Алтайский край. А ближайший населенный пункт там какой?

– Станция Тяжин. И рядом станция Яя там была. Недавно тут я кого-то искала, увидела... Поселка-то там нет. Еще в 1990 году там закрыли, как они говорят. Грядяева Валя. Кемеровская область. Кемеровская область, 652, город Мариинск, улица... какая-то...

– А это с кем вы переписывались?

– Когда я задумала туда поехать, я думала-думала... ну, хорошо, я приеду, я помню, что это станция Тяжин. А дальше что? Я помню, что мы долго-долго ехали. Толя говорил, что 200 километров на юг туда вглубь. От железной дороги на юг 200 километров. Ну а там-то как? Есть какая-то связь, нет, кто его знает. Может, там все заросло уже тайгой. И я написала... Раз станция есть, дорога функционирует, значит, начальник станции есть. И я написала письмо и адресовала начальнику вокзала. И на станцию Тяжин, и на станцию Яя написала. Я помню эти две станции. И они мне моментально обе ответили. Кстати, начальниками оказались женщины (и там, и сям). Но особенно очень сердечная вот эта Грядяева. И потом уже она мне даже сама писала, как мне приехать. Оказывается, у нее дядя был сослан, и там все умерли. И она очень сердечно восприняла. Я так и написала, что мы были сосланы, раскулачены, вот там-то жили. Так вот до сих пор еще адрес.

– А вот потом, когда вы писали, вы не находили никаких документов? Или каких-то публикаций про Тяжин, про Яю, про спецпереселенцев в Кемеровскую область?

– Когда я там была, вот в этот центральный рудник (200 километров от железной дороги) я зашла. Я говорю: где ваша милиция? Мне говорят: – У нас комендатура. До сих пор у них комендатура. И я пошла. Но со мной были Грядяева (она начальница) и ее муж Миша. У них была машина. Вот она написала: – У нас машина, мы вас свезем, только приезжайте. Вот такие есть люди... Я и пошла. Военный такой... ну как-то он не очень похож на милиционера. Такие у него какие-то хватки, такой взгляд, такие ответы... Ну, как я поняла, кэзэбэшник такой тренированный, наверное. Меня-то интересовало, нет ли здесь кого-нибудь из Шалтыря – из нашего поселка, – раз он закрыт. Я начала называть фамилии, с которыми я училась. Сразу четко отвечает: – Нет, нет. Мироновы там были. Мальчишка, мы с ним вместе стенгазеты делали, такой очень толковый. Я думаю, что он должен быть генералом, не меньше, если остался жив. Такой был парень! Он сразу сказал: – Нет. Миронов у нас есть Сергей. Он второй раз судимый, отбывает срок. Последний раз дали четыре года. Всех на память знает. Таких нет, таких нет. Я говорю: – Как, можно туда проехать? – Нет, зона закрыта уже с какого-то года (сказал), сейчас я забыла, ничего там нет. А одну женщину я остановила поговорить, тоже спросить, может, она знает. Она говорит: – Ой, нет, прошлый год мой племянник поехал на мотоцикле, хотел тоже проехать (видимо кто-то там был тоже из родителей), хотел посмотреть, так не проехать. Всё заросло. Вся дорога заросла. Так что там уже непроходимая тайга.

– А если комендант, если там был какой-то осужденный, то, значит, там лагерь какой-то был на этом месте, где рудник, где вы были?

– А кто знает, почему у них комендант... Там видимо, потому что еще много... Там некоторых оставляли, там были сосланные. Но счастливики даже и там оставались. Видимо, у кого такие здоровые мужчины были, что можно было золото добывать. А у нас-то чего. Мы двое малолетних, а старшему 15 лет, да еще со сломанной ногой он.

– А сейчас там не лагерь, не зона?

– Нет.

– Просто обычный поселок?

– Да. А, может быть, они так называют по привычке – комендатура. Я так удивилась. Я говорю: – Милиция... – А, комендатура, так вот за этой магазин зайти. Наверное, по привычке. Я писала в книге. Я говорю: – Вы здесь местные или нет? – Нет, мы приезжие. Я – кулацкая дочь, я сюда сослана (так, громко). Так я тогда вздрогнула и оглянулась: – Ой, надо же какая... А чего бояться, она уж и так в Сибири, чего ей бояться. Вот она про племянника это и рассказала, что туда уже проезда нет. Мы ходили по магазинам. А тогда уже в магазинах было пусто у нас, ничего не было. А у золотоискателей там в магазинах еще было всё – промтовары можно было... старателей всегда хорошо обеспечивают (кто золото добывает).

– Интересно, как достать эти данные о погибших. Интересно это было бы.

– Если в Кемерово архивы, теперь-то открыты они.

– Да, картотека спецпереселенцев находится в архиве, информационном центре МВД?

– Конечно, наверное.

– А вы туда запрос не делали?

– Ой... делала. Но не о количестве погибших, а о том, что мы туда были сосланы, чтобы компенсацию получить, доказать, что мы там действительно были. Я и в Новосибирск, и в Кемерово, и еще куда-то писала, и на Тяжин. Нигде в списках нас нет. Вот еще какой факт. Нигде нет. И у нас в Устюжне нет, что мы куда-то сосланы. В списках, – архив отвечает, – нет. Никого не высылали. Вот она и пишет, что советским-то документам не очень можно верить. Когда вышел указ о том, чтобы реабилитировать кулаков, были созданы комиссии при исполкомах (тогда еще исполкомы были). При исполкомах были созданы комиссии по работе с этими репрессированными. И в Устюжне была Кедрова. А Кедрова (мы-то знаем) – из духовного звания. Там был батюшка. Потомственные Кедровы. Вот уж как она теперь... в 90-х годах уж тут, конечно, да еще при исполкоме, да еще как раз на эту ее работу. И она очень-очень внимательно, душевно и очень старательно помогала нам. При мне, когда я пришла... (Давали все ответы: и там нас нет, и там нас нет... Здрате, я там была четыре года, вот я живая. И не доказать, нет нигде в архивах). Тогда она звонит в Вологду... И в Вологду я писала, там тоже ответили: нету, нету. Она звонит. Ну, одно дело я бы позвонила, другое дело – она как лицо представительное. Там чего-то долго... Она говорит: – Нет, вы посмотрите (спрашивает даты, я ей всё говорю). Долго разговаривала. Наконец, они нашли, сказали: – Хорошо, мы вам пришлем.

– А что нашли?

– Что мы действительно были высланы.

– А как отвечали на ваши запросы? Что?

– А нету. Нет в списках такой фамилии. Так что вот такие там тоже данные могут быть. И если бы не эта Кедрова, которая случайно оказалась из другой когорты, так тоже бы... Она долго-долго: – Я подожду, идите... Очень мягко, хорошо, интеллигентно. Очень приятная. Я, по-моему, в книжке об этом написала. А я уже после этого узнала, мне сестра сказала, что Кедрова в Устужне... это же священники были, как же, это такая семья уважаемая. Чувствуется, что оттуда она: по манере, по интонациям, по всему.

Но где конкретные цифры вам взять, я не знаю. Конечно, я тогда не записала, не думала, а надо бы... Было такое указание, что три четверти можно пустить в расход, а останется одна четверть – и хватит нам этих кулаков.

– Скажите, а если по таким данным пойти: из тех, кого высылали, и про кого вы знали, что выслали людей, кто вернулся. Знали ли вы о том, что кто-то вернулся, кто-то выжил?

– Из нашей деревни вернулась Дуня Шарова. Но она там вышла замуж. Красавица была, была невеста моего старшего брата. Уже о свадьбе думали, уже дом строился для Ивана. И вот выслали нас, и их выслали. Она там замуж вышла, у нее было четверо сыновей. Сыновья, конечно, в армии были. С удовольствием их брали, даже из тех мест брали в армию. И она уже вернулась старенькой и с одним сыном. Остальные там остались. Приехала, в Устюжне где-то. Из всех... А больше я и не знаю, кто еще вернулся.

Ну вот в Москве... Они тоже были сосланы. Они в другое место были сосланы – в Красноярский край. Сейчас она там живет, активистка. Вернулись. В 1947 году ведь разрешили вернуться. Было постановление, что себя хорошо показали кулаки во время войны, и что можно вернуться. Но не все вернулись, потому что там уже корни пустили.

А вот этих Шаровых... принципиально выслали вас в Тяжин и в Яю, а Шаровых – куда-то в другое место?

– Там вот так было. Нас привезли вот в этот Мариинск, под открытым небом всех оставляли. А потом каждый день должны были (глава семьи) явиться в комендатуру. За колючей проволокой, вышки, – всё как полагается. Только мы без здания, а они-то в зданиях жили. И зачитывали: вот такие-то – такие-то сегодня на выезд. И вот идут к воротам. И вот так Шаровых повезли в другое место. Мы там около месяца были. Хорошо было летом, тепло, правда под дождем помокли хорошо. И, наконец, приходит: – Ну, слава богу, хоть и нас уже сегодня куда-то повезут. Уж рады хоть куда-нибудь. Ну, под открытым небом...

– Это из Мариинска, да?

– Из Мариинска. Кто был в ссылке, этот Мариинск знает. Это был такой распределительный пункт. Привозили туда, а потом уже по дальним местам отправляли.

– Толя сказал, что 200 километров на юг от железной дороги. А эти 200 километров как вы преодолели?

– На лошади. Обоз большой был. Мы не одни ехали. Мама, я помню... Нам она ничего не показывала: – Ой, так больно хорошо, ребята, смотрите, какие ягоды, какие цветы, какие здесь травы. Мы бегали, веселились. А, оказывается, сама-то она очень переживала. Уже когда мы вернулись и она в интимной беседе своим родственника, подружкам рассказывала: – Страшно было. Едем, темно. А сибиряки – здоровые мужики, правят лошадьми. И кричит: – Иван или Прохор, дай-ка топор! У меня сердце... Боже мой, может, сейчас и начнут нас убивать, кто знает.

Останавливались, я помню, ночевали там. Но они ночевали, видимо, в каких-то постоянных дворах, а мы-то под телегами. Мама спустит половики или чего-нибудь сделает... потому что летом. Долго мы ехали. Ну, 200 километров. Около недели. На лошади километров 30 в сутки проезжают. Им некуда спешить.

– А дороги были?

– Была такая проселочная. Конечно, не асфальтированная (Смеется) Проселочная – кочки там, коренья, ничего. Мы так с Толей вообще больше бежали, чем шли (м.б. ехали?). Но лет был, такой был лес... А сейчас там – чисто поле. Когда я поехала, я так расстроилась, так расстроилась. Всё ждала, когда же будет тайга. И до самого уже... перед центральным рудником. Так и то: две горы лысые совсем стоят. А одна только вот такая... Я посмотрела: вот ведь все были такими. Теперь

кое-где осинка растет. Срубили. А кедровые какие были! Еще бы посадили... Хищничество сплошное. Хозяина нет.

– У нас еще были вопросы по поводу того, как можно обнаружить человека, который...

– А вот еще: как менялись взгляды во время войны. Таня, эту войну надо пережить. Я помню, когда родители вспоминали, разговаривали... Когда гости, начинают вспоминать про Гражданскую войну, как они говорили, германскую войну (в 1914 году). Все же мужчины были призваны, все воевали. Кто вернулся, вот теперь... И как женщины все время чего-то страшались, что как это ужасно, как это страшно – война, – и как мы пережили. До меня это глубоко не доходило. Когда я уже в школе училась, ну, война, ну, тот победил, другой... В школьных учебниках только описывают как бы движение войск, принятие решений главнокомандующим. А про население – как это всё переживали – этого нет. Думаю, а чего страшного: ну, воевали они там и воевали, а вы тут себе жили.

А вот когда это коснулось этой уже войны, в 1941 году, и я это прочувствовала на себе... Какие там взгляды! Да мы рады были, что кто-то есть, хоть черт, хоть Сталин, кем-то руководит, какие-то войска посылает. Только бы нам победить, только чтобы нас не поработили, чтобы сюда немцы не пришли! Вот у нас какие взгляды были.

Я два года (1941 и 1942) не дома сидела, я была заведующей Домом пионера и школьника. И меня очень часто посылали в командировки в колхозы. То одно там постановление (надо провести собрание и проработать), то второе. Я шастала, я была в народе. Нужно было нам там концерты. Война войной, а это надо было с ребятами, драмкружок был, мы концерты давали. То есть я хочу сказать, что я чувствовала народ, окружение, я ни где-то сидела в конторке у себя. Никогда я не слышала, чтобы был такой явный негатив, такое отрицательное высказывание, что плохое правительство, плохо воюет или что. Вот не было. Не было. Только: – Скажи, чего еще надо, чего еще надо. Ведь были какие с войной связанные работы? Ну, подумайте. Вот тетку обзывают в колхозе. Естественно, в исполком спускается инструкция... (конец стороны кассеты)

... приходят все старухи и детки: и рубят, и квасят, и всё делают... Это было просто удивительное состояние, я то пережила. Не было никаких как вот теперь: вот пошли заорали всякие демонстрации. Не было. Так боялись, что завоюет немец... А вот здесь-то большевики правильно сделали: они нас так пугали немцем... С утра до вечера по радио гремело, что такие это звери. Уж какими словами их ни обзывали! Мне запомнилось: «вшивые немцы». Выступает какая-то доярка и говорит: – Да эти вшивые немцы... Очень нас запугивали, что они славян хотят всех уничтожить, сделать рабами, и вообще загонят за Урал... что всё это место надо освободить от них. Очень запугивали. И так боялись, что всё делали. И рады, что там у нас есть вождь, он руководит, такой мудрый! Не было отрицательного отношения к правительству. Не было. Это я вам констатирую.

– А вот про 1947 год, когда кулакам разрешили вернуться из ссылки... Вроде бы как можно было перестать бояться, что кулаком был? И как бы кулаков признали, в общем, за таких же людей советских... А Вы?

– Я не знаю, может быть, не все такие трусы, как я. Я так очень боялась, потому что у меня было вранье в анкетах, – я вот чего боялась, разоблачения. А если человек честно... была сослана, теперь вернулась, наверное, она и не боялась (вот та же Дуня Шарова), а чего?

Она вернулась ведь не сразу. Немножко попозже мы услышали.

– А вот как вы встретили это постановление?

– Прекрасно! Ну что вы, конечно.

– Вы обсуждали это как-то?

– Ну, конечно. Так и слышали... Кто приедет из Устюжны: – Вот такой-то с Кармовесова... Я-то их всех не знаю, мама знала. С радостью! Как будто воскрес человек. – И вот этот еще, и этот еще приехал. Но в колхоз не брали все же. Устраивайся где-то.

– А где можно было устроиться?

– Господи, да в той же Устюжке, в том же Пестове. Где угодно! А потом уже вернулись, конечно, пожилые. А молодым чего в Устюжку ехать. Раз оттуда можно, то, я думаю, что в какие-то другие города – промышленные... А парни, которые из армии вернулись – можно же было демобилизоваться в любой город, куда хочешь.

– А как было с жильем? Где искали жилье? Дома строились заново?

– Мои фронтовики, о которых рассказывала уже вам, когда про Жукова говорила (Жуков обещал, что колхозы отменят)... Финн он у нее был, и она такая работяга псковская – физкультурница, она кончила Лесгафта, лыжница, спортсменка. Они, конечно, сами построили, они уже семейные. А если ты один – так в общежитии. Устроился на завод – в общежитие, а там как уже...

– То есть в деревню... нельзя было вернуться.

– Нет, нет, нет...

– Только в город – где-то там как-то устраиваться.

– Да, да, да.

– Хорошо. Еще был вопрос про мужей... Как можно было почувствовать, что их биографии тоже нечистые?

– Мне очень понравился этот вопрос. Мне даже как-то в голову не пришло. Интересно, что вы обратили на это внимание. Оба мужа у меня репрессированы оказались. А потом я так раздумалась... думаю, а по-другому и не могло быть. Во-первых, Таня, я не знаю (я вспоминала), по каким признакам: интонациям, словам, поступкам, – определяла, что он то же, что и я. Вот по каким? Вот вспомнила такой факт. У Знаменского был приятель – Крохин. Они учились вместе в институте. Они кончили институт, и началась война. Тот был на фронте, тот на фронте. Вернулись, встретились. Он женатый, Знаменский женатый. И мы встречались семьями. Ну, какой-то день рождения, мы – в гостях. И этот Крохин мог встать и сказать: – Выпьем за советскую власть! Ну, я за такого уже никогда бы не вышла. Уже всё, это отрезано. Понимаете, я хочу сказать, по каким... Вот это. Это четко. Крохин...

– То есть вас бы это отвратило...

– Сразу. Ну... Хотя ты генералом будь, я бы ввек не пошла.

– А вот интересно, а что вам приходилось делать? Все-таки пить за советскую власть?

– Конечно! – Ой, правильно, Коля, какой ты молодец! Конечно!

– А ваш муж ему ничего не говорил?

– Всегда с улыбочкой – и молчит. Он же из благородных, это не я – деревенская баба. А он – из благородных. Ну, чтоб из него такое выжать – никогда. Вот по каким-то таким... Или, например, как у меня друзья... Ведь мало того мужья, у меня же друзья потом... оказывается у всех подружек моих родители – репрессированные, только они не попали в ссылку, а сумели вовремя, пораньше уехать, пристроиться. Ведь вот еще интересно, как подружки у меня выбирались. Вот как в институте. В воскресенье очень часто у нас были субботники. Пришел уголь – надо разгрузить, чтобы общежитие топились. То дрова, то уголь.

– Это еще в Свердловске или уже здесь?

– И в Свердловске, и здесь ходили мы. Все студенты это знают. С кем ни поговоришь, все это знают. И вот, скажем, мы работаем, грузим, вытаскиваем (я сейчас не помню) какие-то тележки; кто-то сбрасывает, мы куда-то возим. Вдруг, видим (я помню такой случай)... – Пойдем, там есть такая сторожиха, сидит, тепло, пойдем сядем туда... Я говорю: – А работать? – Пойдем! Всё. Я уже с такой не могу, она уже для меня никогда подругой не будет.

А вот эта Оля Савицкая (она была Андреевой) – как мы с ней здорово в паре стали работать! Да так ловко! Она повыше меня была, а я поменьше, но поподвижнее – наверх прыгну, туда-сюда. С этого угля мы с ней познакомились и подружились. Вот какая-то общность есть.

– И что, выяснилось, что у нее тоже были...

– Да. Отца сослали, а они убежали. А сослали его на какие-то торфоразработки. Она тоже писала и ничего. Я говорю: – Оля, ты тоже можешь, наверное, получить компенсацию. Ответили: такого не было. Вот еще второй факт, пожалуйста. Так что этим архивам не больно-то можно доверять.

И второй муж тоже... Как-то всё молчит, всё улыбается. Очень исполнительный, рукастый, головастый. Но как речь о чем-то пойдет – отмалчивается и улыбается. Знаменский, конечно, много знал. Был такой деликатный, чуткий. Хороший был человек, ничего не скажу. А второй...

И потом как-то... еще вот какой симптом. Какой-нибудь разговор такой провоцирующий (ведь бывали), а мы же знали, что кругом у нас стукачи обязательно везде есть... И как провоцирующий разговор... Если человек за собой не чувствует, так сказать, ничего (то есть хороший, чистый пролетарий), то он вступает в дискуссию или тоже поддерживает, или начинает возражать. А наш брат – замолкали или начинали какой-то другой разговорчик. Вот я всё это



продумывала. Я потом проанализировала. И, видимо, вот это внутреннее чувство, что из того поля ягода, что и я. Вот как это было.

– А провокаторов легко Вам было вычислить?

– Ну, знаете, некоторых не так-то легко. Не-не-не... По молодости можно было засыпаться, потому что не все такие были дураки откровенные. У нас был один сотрудник. Пришел, в аспирантуру... Мы, конечно, были довольны. Поскольку я работала с детьми, так у нас всё женщины. Думаю, о, хоть один парень завелся. Он так работал хорошо. Звезд не хватало, ему все помогали. Потом как-то странно: все бьются, в коммуналках живут, а он вдруг получает квартиру. Он, правда, женился, ребенок... – Да вот так там папа на работе где-то чего-то... Потом еще ему какая-то поблажка (я не помню сейчас, какая) была. А потом мы догадываемся, что он помощник. Они своих поддерживали, помогали. Он от нас ушел, конечно. Он потом защитил докторскую. Он биолог был (по сельскохозяйственным животным). Забыла фамилию.

– А бывало так, что вы промахивались, что чутье, интуиция подводили?

– Бывало. Со мной это бывало. Я очень импульсивная. Но как-то, видно, не очень серьезно, проносило. Во всяком случае меня не вызывали на объяснение. Но сама-то я чувствовала, что дала маху. Со мной бывало, но, видимо, не очень серьезно. Наверное, было доложено, но...

А потом уже в институте (во-первых, я поумней уже стала) у нас в первом отделении (забыла фамилию) еврей был такой симпатичный. Он очень к нам хорошо относился. Кстати, и к мужу. Потом уже, когда разговорились, он говорит... Второго мужа младшая сестра работала на заводе. Она такая вообще активная, энергичная, ее продвигали там. Она закончила свою карьеру вообще главным инженером... главным конструктором фабрики (завод или фабрика, где делают бумагу). Ну и был какой-то период, она чувствует, что для карьеры ей надо вступить в партию, и что-то там всё тормозят, всё ее откладывают. (Бедеров – вот как фамилия нашего начальника!) Вдруг вызывают Борю. Ну, у того, конечно, поджилки дрожат. Его спрашивают: – Вы знаете, что ваша сестра хочет вступить в партию? – Да нет, мы в разных местах живем. (А хотя знал, но на всякий случай отказался). – Вы-то ведь постарше, вы-то знаете, что ваш отец был осужден по 58-ой? – Да, знаю. (Дескать, ну и что, что вы со мной теперь будете делать?!). А он и говорит: – Скажите Нине, пусть она возьмет заявление. А то есть она будет добиваться поступать, раскопается, что она скрыла про отца...

– А это какой год был?

– Это когда в партию она вступала? А вот, я не знаю, наверное, Сталин еще был жив. А нет-нет-нет, это при Хрущеве. Но все равно ведь это могло раскопаться: что же ты, вступая в партию, обманула, у тебя отец по 58-ой был, а ты не пишешь. Понимаете? Ну я, – говорит, к ней сразу поехал сказал: – Знаешь, сиди, давай, на месте. И, конечно, Бедерову он был очень благодарен, что он подсказал ему.

А как Бедеров мне помог, когда я вступала в партию. Ой, ну так это было интересно... Он сидит во втором или в третьем ряду. Он вдруг меня спрашивает: – А в комсомоле вы были? Я говорю, что нет. – А почему? Я говорю: – Я училась в такой школе, у нас не было комсомольской организации. – Да, конечно, деревня... (он сказал). А глаза-то говорили его, что мне он не верит. Он понимает, что я вру. Я понимаю, что он меня понимает. Мы так друг на друга смотрели... На второй день я иду по институту, он улыбается: – Ну, поздравляю вас. У сам, вы знаете, играет уже... сцена. А ведь только бы встал и сказал...

– А вы думаете, он знал во всех подробностях?

– Конечно, конечно.

– Не только про то, что вы все-таки были в комсомоле и потеряли билет? И про отца, и про ссылку?

– Конечно, я думаю, что знал.

– Ну, интересно: а тогда роль его? Как же он скрывал?

– Если бы попросили... А не просят – так зачем? Бедеров. Забыла, как зовут. И я улыбаюсь...

– А муж вам об эпизоде со вступлением сестры в партию когда рассказал?

– Перед смертью всё уже. Нет, ничего не говорил. Ни-ни.

– Скажите, когда все-таки вы рассказали и про Знаменского... Ну, про Знаменского вы давно узнали от его тети, а про второго мужа когда вы узнали все подробности его биографии после перестройки, после всего этого, у вас как-то изменились отношения или нет?

– Абсолютно. Наоборот.

– То есть наоборот стали еще ближе?

– Конечно. Господи, да конечно. А он говорит: – А ты знаешь, я все же догадывался, что ты чего-то там тоже замешана. Я говорю: – А как? А он говорит: – А помнишь, я рассказывал про Осинники? Сейчас я скажу. Во время войны (в 1943 году, что ли) был указ, чтобы всех подозрительных (в смысле фамилий) снять с фронта. Мой муж-то был на фронте, где-то на юге, и вдруг его снимают с фронта. Вот этот Шиманский, про которого я рассказывала (сосед, поляк) – его тоже сняли. В общем, как Боря мне говорит, 101 национальность была у нас. И в Осинники (это Красноярский край), там были шахты – добывали уголь. Он там в шахтах был. Вот это-то он четко рассказал. А была у него фамилия Иогансон. Его только за фамилию. Ну, это ж ничего, они там побыли, и потом он поступил учиться, и всё. Вот это он мне рассказал. Так, оказывается, я, когда он мне рассказывал про эти Осинники... Он говорит: – Конечно же, с одной стороны, было тяжело, а, с другой стороны, конечно, легче, чем на фронте... Он так любил иногда: – Сталин мне спас жизнь! (Он ехидный был мужик – этот мой Борис). Сталин мне спас жизнь, – так иногда в компании. – А как? – Да вот так, это очень такая история загадочная... (Начнет еще трепаться). Потому что снял его с фронта. Ну, конечно, он бы не выжил, что там говорить. И Шиманский: – Я так плакал, дурак; нас погрузили, везут, а рядом едет еще один пожилой и говорит: – Парень, дурак ты, чего ты плачешь, ты хоть жив останешься, куда ты рвешься!

– А ваш муж Иогансон с Шиманским познакомился в этих Осинниках, да?

– Нет, уже здесь. Потом разговорились, а, оказывается, и Шиманский был в Осинниках. В одно время где-то там были по территории. Разговорились случайно.

Так вот, когда он мне рассказывал, я бросила такую фразу: – У каждого свои Осинники.

– Он запомнил?

– Он говорит: – Я знал, что там у тебя что-то есть. – А как, а кто?

– Все-таки проговорились.

– Проговорилась, оказывается. Вот как уловили. Понимаете? Другому бы ни к чему, а он сразу понял, что это недаром.

– Но «копать» не стал?

– Нет.

– Пусть у тебя будут твои Осинники – имеешь право.

– Конечно, что вы. Он же понимал, что мне это и тяжело, и опасно. Ни-ни-ни. Вот когда уже всё, начали вытаскивать свою биографию...

– А брата вашего он знал (брата, который был бетонщиком)?

– Конечно, ой, какие они друзья были!

– И с братом тоже никаких разговоров о родителях не было?

– Нет, ни боже мой, ни боже мой. Ни-ни-ни. Вот не говорили, и всё. И это, как вам сказать, это уже в подкорке сидело, не только в коре. Это же редкий случай, когда можно было где-то проговориться. Вот как я с Борей. Все же муж, и я растрогана была, что услышала. Я представила эти шахты. И сама была в тайге. Потом тут же посмотрели на карте: на каком расстоянии Осинники от Центрального рудника. А так – нет.

– А он рассказывал об этом как?

– Обычно. Вот такое явление.

– А почему Сталин его снял туда, он не объяснял, что из-за фамилии?

– А Иогансон? Шиманский?

– Повод – как он оказался в Осинниках – он говорил об этом?

– Да, да. Только потому что у меня отец эстонец, я Иогансон, и всех с такими фамилиями был приказ... И Шиманский тоже. Все фронтовики знают – в 1943 году. Много – сколько-то там тысяч сняли. Потому что уже мы, так сказать, начали наступление, – боялись, что предадут или что-то.

– А муж не был в партии (Иогансон)?

– Нет.

– А, этот эпизод с сестрой был...

– Да, да, да. Он же знал, что его не примут.

– Но к вашей партийности относился совершенно спокойно?

– Конечно. Так он понимал, что надо это. Я уже поздно поступала. Моей дочери уже много было лет. В 1962 году – вот когда я в партию вступила. Уже был период оттепели. Ну, он понимал, конечно: – А чего ты будешь сидеть в младших научных сотрудниках, вон какие дураки все...

партийные сразу и звания получают, и на все конгрессы, и за границу. А кто за младшего сотрудника будет платить, чтобы послать по заграничной путевке? Конечно, нет.

– Скажите, а фамилию Знаменская вы не стали менять на Иогансон?

– Да.

– А почему?

– Ну, слушайте, смешно. Мне было 45 лет. Я уже столько лет проработала в институте. И вдруг чего-то. Труды, книжка была, всё у меня... Что-то вначале он говорил: – Давай... Я говорю: – А, давай, да мне всё равно. А потом вдруг он приходит... Мы жили уже, а потом записались, не сразу. А потом он говорит: – Слушай, скажут, странно – вдруг фамилию... Я говорю: – Честно говоря, Боря, мне немножко... я не хотела тебя обидеть, а мне тоже не хочется; если тебе это не очень, то и мне... – Да, правда, ведь Ленин и Крупская... (Смеется) Какой хитрый! Если спросят, я отвечаю: – Ну, Ленин и Крупская – разные фамилии, и мы тоже... Вот такой у меня был муж... (Смеется) Ленин и Крупская.

– Так, что у нас еще осталось? 20-й съезд.

– А что именно про 20-й съезд? Как встретили разоблачение культа личности? Так, господа, это всё понятно. Уж кто-то, а мы-то как радовались! Но! Это в душе радовались, но внешне не очень показывали. Другие: – Вот, да, да... А я вот даже (лично про себя скажу) в некоторых беседах говорила: – А я считаю, что это непедагогично, это для молодежи вредно, будет урон. Они потеряют веру в печатное слово. Ну как они теперь будут учебник по истории партии... уже могут всё поставить под сомнение. И вообще подорван авторитет партии, правительства. А государство все же должно иметь правительство и иметь поддержку со стороны народа. Вот так я еще говорила. Вот так.

– А это специально говорили?

– Специально. А как же?

– То есть про Хрущева, по-вашему, нельзя было говорить хорошо?

– Нет, хорошо, он вначале-то ничего, а вот после 20-го съезда, что он разоблачил... А потом ведь что началось? Сам же... Какой его-то культ начали раздувать. До чего же было противно! Помню, читаю объявление... В нашем кинотеатре бывал журнал перед художественным фильмом. Так вот журнал – будет фильм показан «Наш Никита Сергеевич»... Уже такой создали и перед каждым художественным фильмом... Начали культ раздувать, раздувать. Но его быстренько, правда, уже и сняли.

– Но вы уже понимали, что это культ?

– Да, господа, а как же! Жили уже сколько...

– Можно уже было критиковать Хрущева. Сколько анекдотов было смелых...

– Да, да, да.

– А про Сталина анекдоты появились?

– Про Сталина появились. Вот я, например, такой знаю анекдот: На Ялтинской конференции в перерыве между переговорами Черчилль, Рузвельт и Сталин прогуливаются по парку. И вдруг стоит корова поперек дороги. Рузвельт подошел, что-то там сказал – корова стоит. Черчилль подошел, шляпу снял, тоже что-то сказал, корова стоит. Тогда Сталин, попыхивая трубочкой подошел, наклонился и что-то сказал. Как она взбрыкнула! И побежала. Тогда они спрашивают: – Что вы ей сказали? (Да, он еще вынул блокнот и ручку, подошел и что-то ей сказал). – А я сказал: – Нэ уйдешь, запишу в колхоз! (Смех)

– Это когда появился анекдот?

– Один бедный еврей этот анекдот рассказал в вагоне. Только он это рассказал, – бах, два человека: – А ну, гражданин, пройдемте с нами. Что вы тут против советской власти такие анекдотики... И посадили бедного еврея. Вот идет суд. Спрашивают: – Рассказывали вы такой анекдот? – Рассказывал. – Вы понимаете, что это антисоветский, опасный разговор? Еврей говорит: – Да послушайте, гражданин судья, они же не дали мне договорить. Ведь корова-то Сталину ответила: – Побегу, позову своих подруг. (Смех) И освободили его.

Вы не знали этого? Ой, мне так нравится, хороший анекдот.

– А когда он появился?

– Я сейчас не помню точно. Ну, конечно, уже не при Сталине, я думаю. А, по-моему, при Сталине был вот какой анекдот, тоже про Ялтинскую конференцию. Сталин устроил там ужин. Черчилль встает, говорит: – Спасибо за чай... Все было очень вкусно, спасибо за чай. Рузвельт тоже

говорит: – Спасибо за чай, всё было очень вкусно. Сталин говорит: – А почему только за чай, а всё остальное? – А всё остальное – наше. (Смех) Тогда же они нам помогали тушенкой, всем.

Но тоже думаю, что если это и при Сталине, то только на ушко. Только подружке можно было рассказать. Не дай бог двое – трое... Были такие.

– А про колхозы больше не было анекдотов?

– Ой, я не помню. Про колхозы были тоже анекдоты, я сейчас не помню. Я в молодости так хорошо помнила. Были, были, очень такие острые – ну, что вот бедные колхозники... Вот уж кто натерпелся. Уж ладно мы терпели, да? Но всё же... А уж они-то как терпели. Это ж так работать надо было. И забирали всё. Вот вначале всё сдать, сколько скажут, а что останется, себе поделить. Так же как и в 20-х годах технология. Забирали семена, всё. Как-то они так привыкли жить бедные.

– Еще что? Всё, кажется.

– Вот вы говорите, что я такая, а соседка моя по даче и еще один сосед призналась мне, что они из семьи раскулаченных только после того, как я дала им книгу свою прочитать, а потом подарила. Еще позже меня. Я все смотрю на их участки, уж больно ухожены, видно, что люди с детства к труду на земле приучены... Даже сказала как-то: «А не кулацкая ли вы дочка?» Я-то уже с Сибири вернулась, уже из партии вышла, в Мемориале была, мне не страшно ничего. А она молчит только. Так вот только в 1997 году призналась: «Антонина Николаевна, а ведь я тоже...» Вот так. А сосед так и не смог найти свою Кедрову в архиве, не нашлось его документов о высылке, сколько я его не консультировала. Нет сведений, нет фамилий, и все.